

## Ответный удар

Десять раз за день ударился косточкой о шкаф Семен Семенович, и на десятый раз Семен Семенович не выдержал и как следует врезал шкафу сам. А зря. Потому что с этим ударом Семен Семенович фактически поднял брошенную шкафом перчатку, принял вызов и, приняв его, обрек себя на кровопролитную, беспощадную войну. Войну из тех, в которой не берут пленных и не сдаются в плен; в войну, где, отступая, сжигают за собою мосты, а наступая, потрошат кур и женщин; в войну, в которой победителей не бывает.

Однако нанося шкафу ответный удар, Семен Семенович и представить себе не мог, чем может обернуться для него это непроизвольное ответное действие.

От момента десятого удара по косточке до внезапного разворота и грозного свиста в воздухе непримиримо сжавшегося кулака Семен Семенович даже успел сделать еще пару инерционных шагов в направлении кухни и, зажмурившись, обреченно подумать: «Ох!» — в том смысле, что сейчас опять будет больно. Однако самого момента боли Семен Семенович уже не почувствовал. Глаза его внезапно вспыхнули не рассуждающей ненавистью, кулаки сжались, плечи распрямились, грудь сделалась колесом, на лице появилось выражение свирепого безумия и, стремительно развернувшись, Семен Семенович нанес судьбе ответный удар.

Все оскорбительные щипки и насмешки жизни, все ее тычки и затрещины, все не выполненные обещания и жалкие подачки — словом, все ее бесчисленные, до сих пор остававшиеся безнаказанными подлости хлынули в кулак Семена Семеновича как в пробойну, и сам Семен Семенович, и душа его устремились следом за ним.

Что и говорить? Удар вышел сокрушительной силы.

Шкаф обомлел от неожиданности, покачнулся и замер.

Семен Семенович взвизгнул и отскочил, потряхивая ушибленным местом, по-прежнему не ощущая боли — даже напротив, чувствуя немислимое облегчение и восторг. В нем все пело. Все клокотало в нем. Плясали ноги, мурашки пробежали от разбитых суставов к рецепторам. Волосы стояли дыбом.

— Что, получил, гадюка? — спросил Семен Семенович. Не находя слов от удивления, шкаф молчал.

— Молчишь, сволочь? Мо-о-лчишь, собака?! Еще хочешь? — спросил Семен Семенович и, отступив к двери туалетной комнаты для разбега, понесся на шкаф, опустив голову как критский бык на парчу.

«Аааааааа!» — кричал Семен Семенович, пока разогнался, но крик этот вскоре оборвался ледяным молчанием шкафа. Из глаз Семена Семеновича полетели искры, он тряхнул головой и выжидающе посмотрел на шкаф.

С ледяным превосходством смотрел тот на хозяина своими ненавистными стеклянными полочками. И вновь Семен Семенович с ненавистью сжал кулаки и пошел на шкаф бочком, с той стороны, где в первый удар шкаф дал слабину, покачнувшись. Однако теперь, вероятно, шкаф уже пришёл в себя от первого изумления и стоял намертво. Как стена.

Семен Семенович еще немного побился, заходил так и эдак, но первый восторг уже сменился в нем подозрением, что эти наскоки для шкафа — как об стенку горох.

— Ну, погоди у меня, мерзавец, я сейчас! — пообещал он и бросился в общий коридор за стремянкой. Проходя под шкафом с лестницей подмышкой, Семен Семёнович в одиннадцатый раз за день треснулся косточкой, но в лице его при этом не дрогнул ни один мускул. Губы вступившего в войну со шкафом были непримиримо сжаты, в глазах плескалось безумие...

Несколько минут в прихожей 33 квартиры стояла предгрозовая тишина. Слышно было лишь как тикают на кухне часы и подтекает бачок в туалетной комнате. С антресоли доносился зловещий шорох. Ясно было, что дела шкафа швах.

— Видал, паразит? — спросил Семен Семенович, подходя к неприятелю вразвалочку с отбойным молотком в руках.

Но даже при виде отбойного молотка Шкаф не дрогнул и не отступил.

Загрохотало. Посыпались стекла, захрустели, ломаясь, перегородки и стеночки. Выдирая с корнем и отбрасывая от себя ящики, Семен Семенович оборачивался к ним и свирепо ухмылялся... По стенам металась тень правой руки хозяина, слитая со смертоносным древком. Шкаф погибал.

Наконец, когда от неприятеля остались лишь щепки, битые стекла да рамы перекошенных каркасов, в дверном замке повернулся ключ, и на пороге появилась жена Семена Семеновича, Мария Константиновна.

На десятом ударе отбойного молотка борец с несправедливостью жизни замер с вздетой к люстре рукой, судорожно сжимая в окровавленных пальцах отбойное древко.

Мария Константиновна молчала. При виде ее Семен Семенович тихо-тихо опустил свое орудие к ногам и разжал кулаки. На лице его появилось недоуменное, заискивающее выражение. Под тапками жены хрустнуло стекло. Она медленно наклонилась и приподняла из обломков свою любимую кофточку. Все так же безмолвно Мария Константиновна поднесла останки кофточки к носу и очень задумчиво посмотрела сквозь шrapнель дыр на Семена Семеновича...

Тот поник, вжав голову в плечи.

И тогда шкаф нанес ему последний, сокрушительный удар.

То была любимая ваза жены, зеленого хрусталя с бордовыми розами. Какая-то неведомая сила до сих пор удерживала злодейский шкаф от этой решительной меры. Очень может быть, что негодяй удерживался нарочно, дожидаясь хозяйки.

В темени Семена Семеновича раздался оглушительный звон, и все померкло.

Был светлый и зябкий, желтый от листопада осенний денек. Искалеченный, с перевязанной головой и ногой в гипсе борец с несправедливостью жизни, опираясь на костыль, выпрыгнул из дверей 67-й районной больницы и через золоченый кленовый парк запрыгал к дому. Проходя мимо мусорного контейнера, Семен Семенович радостно посмотрел на знакомые окна и хотел было запрыгать быстрее.

Но задел гипсом угол мусорного контейнера, в который, вероятно переселилась душа непримиримого шкафа, и безропотно пал перед судьбой на колени, в осенний мягкий ковер.

## Жизнь семейная

Двенадцать лучших лет отдала негодяю и мерзавцу-мужу Евгения Семеновна Зильберштейн, и уже собиралась отдать ему остальные, но на тринадцатый год паразит стал наводить тень на плетень, темнить и заговариваться. Приобрел лосьон от облысения и старательно втирал пакость в череп, по утрам, потая и сопя, отжимался от коврика, душился и перед выходом на работу сам чистил ботинки. Смотреть на это было невыносимо. Целый день не выветривался из квартиры отвратительный запах лосьона «Бриз». В мусорном ведре жена с отворачиванием обнаружила пустой флакон от средства для повышения потенции «Супперстар». Во сне дряхлый муж взялся бормотать стихи, призывал какую-то Бигунову и уже не в первый раз вздрагивал, когда Евгения Семеновна на него смотрела.

«Я тебе аппетит-то отобью, лысый тетерев!» — пообещала Евгения Семеновна, исподлобья посмотрев на мужа, и метнула перед ним на клеенку огромную тарелку с жареной картошкой и копчеными ребрышками.

«Сморчок!» — добавила она и мощным движением прибила к клеенке толстый ломоть «Бородинского». Муж рассеянно обернулся, выпучил глаза, заморгал, вздрогнул и... опять отвернулся к телевизору. На экране о чем-то бодро тараторила молоденькая дикторша. Евгения Семеновна медленно перевела взгляд с черепа мужа на дикторшу, перевела обратно, еще немного поводила взглядом туда-сюда и сомнения покинули бедную женщину. Без сомнения, это была она... Она! Бигунова. Та самая, которой негодяй во сне читал стихи, ради которой чистил по утрам ботинки и втирал в лысину свой мерзопакостный, ненавистный лосьон.

По лицу мужа блуждала мечтательная улыбка. Уши его бессовестно лоснились, на щеке повисла картошка.

«Узнаешь у меня сейчас, пучеглазый!» — пообещала Евгения Семеновна, но даже это обещание не стерло с лица мужа блудливого выражения.

— Евгусенька, дай вилочку, пожалуйста... — не оборачиваясь, попросил гнусный изменник.

Евгения Семеновна развернулась, смерчем халата сметя с кухонных плиток зазевавшегося кота, и распахнула буфет так, как Пандора не распахивала свой ящик.

Кухня подпрыгнула. Пол притих. Окостенела занавеска. Остекленели окна.

Неблагодарный негодяй не пошевелился.

Из телевизора нагло улыбалась разлучница Бигунова. Пальцы Евгении Семеновны непроизвольно сжали древко столового прибора.

— На! — мстительно сказала жена, и вонзила вилку мужу в махровую спину.

Муж даже не обернулся.

Пришлось выдергивать вилку, и вонзать ее снова.

«На! На! На!» — три раза вонзив вилку в спину негодяю, Евгения Семеновна вонзила ее еще раз, но уже без прежнего энтузиазма. И так и оставила болтаться в спине.

Тем временем муж, так и не дождавшись столового прибора, взялся есть из тарелки руками. На экране по-прежнему ухмылялась разлучница Бигунова.

Вилка в спине мужа перестала дребезжать и застыла. Капал кран.

Евгения Семеновна заварила чай, подошла к буфету и, поднявшись на цыпочки, достала с верхней полки флакон крысиного яда.

Накапав мужу как следует, она посмотрела в лицо разлучнице и докапала в чай еще «как следует» — весь флакон. Муж выпил чай с удовольствием, причмокнул, однако так и не оторвал взгляд от экрана. Тогда Евгения Семеновна взялась за сковородку. На мужа не подействовало и это.

Пришлось поднять мужа вместе с табуреткой и выкинуть негодяя в окно. Однако уже через пару секунд муж вместе с табуреткой вскарабкался по стенке обратно и опять устался в экран. Пришлось задушить его. Но даже задушенный муж продолжал смотреть телевизор.

Наконец новости закончилась, и муж, наконец, обернулся к жене.

Но было поздно. Евгения Семеновна неподвижно сидела на соседней табуретке, по лицу ее блуждало мечтательное выражение. Глаза жены остекленели. По телевизору начался вечерний показ ее сериала.

## О любви

Все складывалось отличненько, распрекрасненько, расчудесненько, невероятно даже! Чего практически не бывает, не складывается ни у кого, однако все именно так и складывалось, вдобавок распускалась сирень. Одновременно с этим сиренным возродительным запахом Андрей Петровича мучила совесть.

Совесьть мучила Андрей Петровича недавно, но буквально на каждом шагу, и буквально по каждому поводу прицеплялась. Значительным был этот шаг его (или повод к нему), но для совести Андрей Петровича это не имело абсолютно никакого значения, ибо совесьть его подвергала сомнению решительно все, что он делал (или не делал) и умела растянуть каждый шаг в прогулку, обрекая ее на мучительные сомнения и сомнительные шаги.

Так, не успевал еще субботним выходным утром Андрей Петрович, скользнем целовнув жену, ступить на первую плитку настила, в шахматном порядке мостившего этаж его к лифтовой шахте, как его принимались терзать угрызения.

Иудин поцелуй! — угрызала совесьть, и Андрей Петрович угрызался вместе с нею, целиком и полностью признавая ее правоту. И совесьть грызла его, превращая спуск в лифтовой кабинке в желание вырваться из нее, но не успевал он, вырвавшись, ступить, наконец, там внизу, как совесьть настигала его у почтовых ящиков, превращая законное любопытство к свежей прессе в отчаянье, отвращенье к себе и раскаянье.

Андрей Петровичу делалось не до газет.

Мерзавец, какой же ты мерзавец! Скотина! — тем временем говорила в нем совесьть (а Андрей Петрович с детства привык доверять ее неумолимому голосу), ибо ее голосом говорила в нем она, совесьть.

Не ходи! — говорила она, но, не умея приложить физической силы к словам своим, только даром путалась под ногами, и Андрей Петрович, несмотря на свое с ней бесспорное и очевидное согласие, наступал ей на горло, привычкой кивая консьержке, и распахивал дверь.

Седина в бороду, бес в ребро! — находила подходящие к ситуации слова совесьть, — имей в виду, ничем хорошим это не кончится, сволочь ты такой, я не могу остановить тебя, но я тебя предупреждаю... Имей в виду! — предупреждала совесьть, — не говори потом, что я тебе этого не говорила! Остановись! Да подожди ты хоть минутку... Стой!

Но Андрей Петрович (не без труда) преодолевал в себе ее голос и шагал дальше.

Весенняя улица оглушала... ошеломляла (акации уже почти расцвели) Но!

Нет у тебя совести, нет! — продолжала совесьть, и Андрей Петрович безропотно соглашался с ней, словно ворюга-кот с оплеухой, — нет и не было никогда! — продолжала она, и Андрей Петрович, соглашаясь, кивал. Бессовестный ты человек! Не ходи, стой! Куда ты?!

Но Андрей Петрович упрямо шагал против голоса совести и, отчаявшись звать к нему самому, совесьть зывала к голосу его разума, но голос разума Андрей Петровича угрюмо (хотя и красноречиво) молчал.

Она была безнадежно права, его совесьть. Права как всегда, права как любящая мать, не раз предупреждавшая Андрей Петровича не ходить зимою без шапки, права как Кассандра, предсказавшая гибель Трои. Права, как учительница

начальных классов Андрей Петровича, как анализы и столбик термометра. Совесть была права, как весы суда высшего, Суда Совести, справедливости, весы, что никого и никогда еще ни в чем не обвесили...

Она была права, но Андрей Петрович обходил ее слева. Он обходил поребриком, стараясь не замочить тщательно начищенные женой ботинки, балансируя над вешним разливом, что канатоходец над пропастью.

Зря стараешься! Все равно ты в нее упадешь! — предсказывала совесть, и это было излишне, ибо очевидное не нуждается в предсказаниях с той же силой, с какой невероятное нуждается в очевидном.

Под уклон бежали вешние ручейки, по ним скользили тетрадные кораблики, из-за белоснежных барашков небес пускали солнечные стрелы толстопузые купидончики и пошлейшие розовощекие амурчики. Ландшафт парковой аллеи вел под уклон, благодаря чему с каждым шагом своим Андрей Петрович опускался все ниже и ниже и (несмотря на все вышеописанное) шаги его по мере приближения к цели прогулки, заранее обреченной на муки совести и раскаянье, делались уверенней и быстрее. Так, человек, летящий в бездну, невольно ускоряет собственное падение притяжением земли. Впрочем, в случае Андрей Петровича действовала иная, не менее, а может и более могущественная притягательная сила. И имя ей было Люба. Любовь! И Андрей Петрович покупал ей на углу букетик мимоз.

Да и черт с тобой! — махнув на Андрей Петровича рукой, наконец, умолкала совесть. Но он уже не слышал ее последнего напутствия, ибо был в его падении один чудесный, непостижимый голосу совести, восхитительный миг, когда лифтовая кабинка дома на противоположной стороне парковой, легко преодолевая закон земного притяжения, возносила Андрей Петровича наверх...

Точно также совесть превращала в пытку и возвращение Андрей Петровича с тех недоступных голосу совести высот, на какие возносила его лифтовая кабинка, ведь у голоса совести (в отличие от нас с вами) нет выбора.

Совесть терзала и угрызала Андрей Петровича опять и, угрызаемый, терзаемый ею, он покупал по возвращении второй букетик мимоз у все той же цветочницы.

Ибо была весна. И читатель нас извинит.